

**М. А. ШОЛОХОВ**  
**(1905 – 1984)**



**РОДИНКА**

**I**

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, банья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Всё это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его изящных, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, – анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупно рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

– Мальчишка ведь, пацанёнок, куга зелёная, – говорят шутя в эскадроне, – а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистой графы «возраст» карандаш ползёт, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он – казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

– За гриву держись, сынок! – кричал он, а мать из дверей стряп-ки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нём, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушёл на Врангеля. Летом нынешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и чёрной от загара спине:

– Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну, да, счастливый! Родинка – это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

– Бреешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он – счастье!..

И поплыл на жёлтую косу, обнимавшую Дон.

## II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зелёное расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлёбываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползёт в щели пола и, прибывая, трясёт хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешёл, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишнёвый садик и лёг на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызывают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

– Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

– Вот он я! Ну, чего там ещё?

– Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробила из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

– Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом – на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезённом нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок вёрст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадром на подмогу, и в горницу пошёл, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а ещё эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж утомился так жить... Опостылело всё...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утопанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шёл в конюшню, глянул на чёрную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

### III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улёгся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведёт атаман банду – полсотни казаков донских

и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку – отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а всё же крепко призадумывается атаман: на стременах привстаёт, степь глазами излапывает, вёрсты считает до голубенькой каёмки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядрёной пшеницы гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерастить.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не даёт больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображён был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанские, и – банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть её и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьёт – дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко

цветёт жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной чернозёмной утробой, и смуглощёкие жалмерки по хуторам и станциям такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

#### IV

Зарёю стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилёг отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и тёплой. Сумерки густо измазали дедову хатёнку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся – из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

– Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооружённых людей, бравших не спрашивая корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

– Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

– Мы – красные, дедок... Ты нас не бойся, – миролюбиво просипел атаман. – Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел вчера отряд тут проходил?

– Были какие-то.

– Куда они пошли, дедушка?

– А холера их ведаёт!

– У тебя на мельнице никто из них не остался?

– Нетути, – сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

– Погоди, старик. – Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: – Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! – Споткнулся, повод роняя из рук. – Твоё дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счёта!.. Понял? Где у тебя зерно?

– Нетути, – сказал Лукич, поглядывая в сторону.

– А в этом амбаре что?

– Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

– А ну, пойдём!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень.

– Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

– Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зёрнушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

– По-твоему, нехай наши кони с голодудохнут? Ты что же это – за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

– Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? – Шапчонку сдёрнул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

– Говори: красные тебе любы?

– Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, – голосил старик, ноги атамановы обнимая.

– Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жуёт песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

– Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеётся атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

## V

Заря в тумане, в мокрети мгливой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стёжкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насто-  
рожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

– Кто идёт? – окрик тревожный в тишине.

– Я это... – шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

– Кто такой? Что – пропуск? По каким делам шляешься?

– Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

– Каки-таки надобности? А ну, пойдём к командиру! Вперёд иди... – крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменял в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, гро-  
мыхая пашкой, взошёл на крыльцо.

– За мной иди!..

В окнах огонёк маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

– Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

– Куда шёл?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

– Родимый, свои это, а я думал – опять супостатники энти...

Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, ещё молоком я тебя, касатик, поил... Аль запомнил?..

– Ну, что скажешь?

– А то скажу, любезный мой: вчераь затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

– А сейчас они где?

– Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибёг доложить вашей милости, может хоть вы на них какую управу сыщете.

– Скажи, чтоб седлали!.. – С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

## VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелёнький, подскакал к пулемётной двуколке.

– Как пойдём в атаку – лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развёрнутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные – по четыре в ряд, тачанки в середине.

– Намётом! – крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемёт, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

\* \* \*

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперёд. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! – падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

– Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! – кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулемётчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнём пулемётов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и пашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дёргая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

– Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в наравставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженой восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебежал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взывал по-звериному и осёкся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отёрханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», – обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, пашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдёрнул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидывается. Дёрнул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ногу,

повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял не ловко и сказал глухо:

– Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

– Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чём-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

\* \* \*

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донёс голоса, лошадиное фыркание и звон стремян, – с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.